



HELENA TOLSTOY

The Hebrew University of Jerusalem (Israel)



ORCID 0000-0002-3411-4407

## Анархисты в изображении Алексея Толстого

Anarchiści w przedstawieniu Aleksieja Tołstoja

**Streszczenie:** W artykule analizowane są obrazy rosyjskich anarchistów w twórczości Aleksieja Tołstoja. Początkowo, pisarz — stały współpracownik liberalnych „Русских ведомостей” — ujawniał nastroje filosemickie. Motywy antysemityczne zaczynają pojawiać się w jego utworach po rewolucji w portretach rewolucjonistów, anarchistów, komisarzy (nigdy nie określa narodowości, tylko wykorzystuje powszechne fizyczne i językowe stereotypy). Podczas i zaraz po emigracji Tołstoj odchodzi od stereotypów i przedstawia swoich bohaterów-Żydów w sposób prawdziwy i rozpoznawalny. W dobie stalinizmu w latach 30., pisarz powraca do motywów antysemitycznych, zwłaszcza w portretach anarchistów, zdecydowanie odchodząc od prawdy historycznej.

**Słowa kluczowe:** Aleksiej Tołstoj, anarchiści, antysemityczne stereotypy

Russian anarchists in the writings of Aleksei N. Tolstoy

**Summary:** The study views figures of Russian anarchists in the writings of Aleksei N. Tolstoy. During WWI he was a permanent author of the liberal “Russkie vedomosti” and published a filo-Semitic story, but after the Revolution he used physical and linguistic anti-Semitic stereotypes for his images of revolutionaries (never giving his personages identifiable Jewish names or indicating their nationality). In emigration and right after it Tolstoy painted his contemporaries, Russian Jews, vividly and recognizably, abandoning all stereotypes. In Stalin’s era, however, the writer mobilized all old anti-Semitic clichés to draw Russian anarchists who were Bolshevik’s competitors and enemies, often sinning against historic fact.

**Keywords:** Aleksei N. Tolstoy, Russian anarchists, anti-Semitic clichés

### Социальный расизм

В устных воспоминаниях Исаяи Берлина Анна Ахматова называет Алексея Толстого антисемитом. Между тем, в сочинениях Алексея Толстого мы не находим явных антисемитских ноток, хотя изредка встречаем еврейские черточки у тех или иных персонажей — таков, например, колоритный речевой облик биржевика Адольфа Задера в *Черной пятнице*, советского дельца Леви Левицкого в романе *Эмигранты*, интонации махновца Лёвы Задова в *Хмуром утре*, и т.п. На чем же

основана фраза Ахматовой? Как же все-таки относился автор к евреям?

Начнем с того, что Толстой был связан с еврейством биографически, через свою вторую жену, художницу Софью Дымшиц. Надо помнить, что Толстой рос в кругу самарской «передовой интеллигенции» — том самом, где формировался и Горький с его радикальным филосемитизмом<sup>1</sup>. Во время войны он опубликовал филосемитский рассказ *Анна Зисерман*<sup>2</sup>, потом вышедший в знаменитом сборнике «Щит» (1915), изданном Максимом Горьким, Леонидом Андреевым и Федором Сологубом в защиту гражданских прав еврейского населения России<sup>3</sup>. В рассказе еврейская девушка, застигнутая войной в местечке Духовка, проявляет высоту духа и жертвует собой.

После Октябрьского переворота Толстой занял обычную для русского интеллигента позицию непонимания и ужаса перед той по видимости преувеличенной ролью, которую сыграло в русской революции еврейство. Подобно многим своим современникам, он выработал или воспринял новый вид антисемитизма — пореволюционный, так сказать, вторичный антисемитизм. Более того, с антисемитским текстом он выступил и печатно. Это рассказ *Сон в грозу*, появившийся в июне 1918 года в газетке «Утро Москвы»<sup>4</sup> — приложении к газете «Вечер Москвы»; в подзаголовке говорилось: «Газета издается Московским Профессиональным Союзом Рабочих Печатного Труда с целью оказания помощи безработным печатникам». В рассказе противопоставлены Настенька, олицетворяющая Россию, и Адам Шварц — черный человек, интеллеktуал с раздутым лбом, то есть гипертрофированным разумом. Он опасен, поскольку мечтает овладеть «живой жизнью». В ранней редакции толстовского *Хождения по мукам*, публиковавшейся в Париже в первых двух номерах журнала «Грядущая Россия» за 1920 год, ужасный большевистский теоретик был наделен вампирическими чертами и еврейским отчеством Давидович.

<sup>1</sup> Самара 1890–х годов, где рос Толстой, была новым и динамичным городом — «русским Чикаго». Здесь не было «черты оседлости», но обитали евреи, обладавшие достатком, культурой, и не только интегрированные в окружающем обществе, но и способные сами воздействовать на него

<sup>2</sup> «Русские ведомости», 22 марта 1915 г.

<sup>3</sup> В сборнике «Щит», кроме того, участвовали Константин Арсеньев, Михаил Арцыбашев, Константин Бальмонт, Михаил Бернацкий, Владимир Бехтерев, Валерий Брюсов, Сергей Булгаков, Иван Бунин, Зинаида Гиппиус, Сергей Гусев-Оренбургский, Павел Долгоруков, Сергей Елпатьевский, Федор Кокошкин, Владимир Короленко, Федор Крюков, Иван Бодуэн-де-Куртенэ, Екатерина Кускова, Павел Малянтович, Дмитрий Мережковский, Павел Милюков, Дмитрий Овсяннико-Куликовский, Алексей Пешехонов, Поликсена Соловьева, Надежда Тэффи, Иван Толстой, Татьяна Щепкина-Куперник. Кроме того, в сборник были включены статьи и письма Льва Толстого и Владимира Соловьева.

<sup>4</sup> Место этой публикации нашел Александр Галушкин.

Зловещий образ расклейщика афиш, которым Толстой закончил роман *Хождение по мукам*, также первоначально имел еврейские черты — «черные космы бороды»<sup>5</sup>, видимо в память о том бородатом еврее из дневниковой записи, которого Толстой встречал несколько раз на улицах Москвы в дни революции и, очевидно, отождествил с Вечным Жидом. Вскоре по переезде в Берлин, в самом начале 1922 года Толстой опубликовал вещь неприкрыто антисемитскую — рассказ «Четыре картины волшебного фонаря»<sup>6</sup>. Картина первая называется «Черный призрак» — сразу вспоминается знаменитая статья *Красный призрак* Георгия Чулкова из «Народоправства», где критикуется Блок за его упоение ужасами революции: в ней фигурирует всё тот же страшный, черный вестник ужаса и разрушения — комиссар с раздутым черепом и сатанинскими чертами<sup>7</sup>.

В эмиграции в Берлине Толстой стал приверженцем национал-большевистской идеи<sup>8</sup>, отрицающей европейскую цивилизацию. Такое осуждение цивилизации и заодно ее подозрительно знакомых носителей вынесено Толстым в 1927 году в рассказе *Древний путь*: «разум» анонимных носителей цивилизации (тут это некие низенькие носачи, то ли финикийцы, то ли еще какие-то «народы моря») несет гибель «живой жизни», примитивным и кротким пастухам — «голубоглазым пеласгам».

Без всякого упоминания национальных дефиниций Толстой уснащает свои произведения двадцатых годов вполне однозначно определяемыми персонажами. В *Похождениях Невзорова, или Ибикусе* это «иссиня-бритые дельцы», на лицах которых «смесь окончательного недоверия к любому жизненному явлению — и, вместе, живая готовность купить и быстро продать таковое явление, получив разницу»<sup>9</sup>. Откровеннее, но также без упоминания национальности сказано о них в *Гиперболоиде инженера Гарина* (1926):

Откуда, из каких чертополохов вылезли эти жирненькие молодчики, коротенькие ростом, с волосатыми пальцами в перстнях, с воспаленными щеками, трудно поддающимися бритве?<sup>10</sup>

<sup>5</sup> А. Н. Толстой, *Хождение по мукам*, Наука, Москва 2012, с. 254.

<sup>6</sup> Первая публикация — в рижской газете «Сегодня» в начале февраля 1922 года во время гастрольной поездки Толстого в Ригу; затем в берлинской «Жар-птице» 1922, № 6.

<sup>7</sup> А. Н. Толстой, *Собрание сочинений Алексея Н. Толстого*, книга вторая: *Лихие года. Рассказы*, издательство, Берлин 1922, с. 257—271.

<sup>8</sup> М. Агурский, *Идеология национал-большевизма*, УМСА-press, Париж 1980, с. 87—91.

<sup>9</sup> А. Н. Толстой, *Полное собрание сочинений в 15 томах*, ОГИЗ, ГИХЛ, Москва—Ленинград 1948, т. 4. с. 288 (далее ПСС).

<sup>10</sup> ПСС, т. 5, с. 8, 32.

Однако, был краткий период в творчестве Толстого, когда он как будто несколько высвободился из-под власти теоретических шаблонов антисемитизма. В ранние двадцатые годы он изображал своих реальных современников — русских евреев без навязших в зубах стереотипов, а явно с натуры, живо и с юмором. Так, в рассказе *Черная пятница* (1924) изображен в полный рост еврейско-русский делец, авантюрист, развернувшийся в Берлине, фантастический враль, порою вызывающий авторскую симпатию. Рассказ безумно смешной, но совершенно не антисемитский. Именно тогда в творчестве Толстого возникает образ русского анархиста, не высосанный из пальца, то есть без черной одежды или шляпы, без раздутого черепа, клочковатой бороды или другой неопрятной, избыточной, клочковатой растительности, и без вампирического рта. Это террорист Бурштейн в повести *Ибикус* (впервые опубликованной в 1923 в берлинском журнале «Сполохи»):

Наверху, на третьей палубе, прогуливался один мужчина: шляпа с широкими полями, лицо мрачное, сам — приземистый, похож несколько на Вия [...] А человек этот, знаете, кто? Ну, самый что ни на есть кровавый и страшный революционер<sup>11</sup>.

Мы знаем, что Толстой выехал из Одессы в эмиграцию в 1919 на пароходе «Кавказ», где повстречал знаменитого эсеровского лидера Петра (Пинхаса) Рутенберга, прославленного своими террористическими подвигами<sup>12</sup> — в 1905 году тот повесил Гапона. В Февральскую революцию Рутенберг был комендантом Зимнего дворца. Очевидно, это и был прототип Бурштейна.

Монархическая контрразведка приказывает герою *Ибикуса* убить террориста, но он не может выполнить задания:

Революционер стал под душ и начал скрести живот. Он фыркал, как буйвол, видимо, очень довольный, и косолапо поворачивался. [...] «Великолепно, — проговорил он насколько мог весело, — давно я не мылся, великолепная баня».

Семен Иванович глядел на него. «Видишь ты — моется, здоровенный какой, плотный, выпить, чай, не дурак... Ну, как его убивать? — даже как-то неудобно<sup>13</sup>.

В конце концов Бурштейн сам ловит Невзорова, отнимает у него револьвер — и отпускает с миром. Менее гуманные

<sup>11</sup> Там же, т. 4. с. 324.

<sup>12</sup> См. В.И. Хазан, *Пинхас Рутенберг: от террориста к сионисту. Опыт идентификации человека, который делал историю*, Гешарим, Мосты культуры, Москва–Иерусалим 1998.

<sup>13</sup> ПСС, с. 344.

контрразведчики-монархисты зато жестоко избивают незадачливого киллера и грабят его дочиста. Таким образом, «страшенный» Бурштейн показан человеком беззлым. Вдобавок он и бессеребренник: на пароходе, увозящем его в эмиграцию, он стоит на третьей палубе, где жует корочку. Писатель правильно оценил человеческий масштаб «террориста». Рутенберг тогда, в 1919 году уехал в Палестину, где оказался гениальным организатором — он основал там химический завод и национальную электрическую компанию. Характерный штрих: в своем завещании он запретил называть своим именем улицы и города.

К концу 20-х ситуация в России ощутимо меняется. В первом, журнальном, варианте романа *Эмигранты* — романе *Черное золото*<sup>14</sup> (1931) присутствует эпизод, снятый из последующих версий. В парижском парке Монсури прогуливается пролетарский идеолог. Несомненно, перед нами уже знакомый еврейский типаж: «бородатый, чахоточный, в пенсне, в пыльной черной шляпе», «со спутанной, черной бородой»; и говорит он, «поправляя на тощем носу пенсне». Он излагает странную теорию, нечто вроде расизма, но направленного против социальной, а не биологической «расы» — против некоей всемирной космополитичной расы эксплуататоров<sup>15</sup>, которая с непостижимой быстротой превращается в монолит:

Народоведение распределяло народы и расы по корням языков, строению черепа и окраске волос. [...] Но все движется, все меняется, молодой человек, и не только наука о расах, но даже такие прочные понятия — Франция, французы, — начинают казаться нам миражами [...]. Новая школа народоведения [...] рассматривает национальный тип по его профессиональному занятию. [...] Тот, кто не строит культуры, а лишь ею пользуется (во всевозможных формах эксплуатации труда), тот нами рассматривается как пришлец, чужой, завоеватель (вне зависимости от формы черепа, языка и окраски волос). Мы относим его к расе «Б». Национальные разновидности трудящихся — французы, немцы, англичане и так далее [...] объединяются нами в расу «А» [...]. Раса «Б» — космополитична. Когда-то у нее были национальные корни, но в июне месяце 1919 года порвались окончательно и навсегда<sup>16</sup> [...] с непостижимой быстротой раса «Б» прев-

<sup>14</sup> А.Н. Толстой, *Черное золото (Эмигранты)*. Роман. «Новый мир» 1931, № 1–12.

<sup>15</sup> Ту же идею несколько раньше Толстого довела до увлекательной фантастической гиперболизации Маризтта Шагинян в своем приключенческом романе *Месс-Менд* (1926), где эксплуататоры физически деградируют в животных.

<sup>16</sup> 28 июня 1919 года был подписан Версальский договор, по которому государства-победители получили ряд территорий Германии, разделили ее колонии и обложили ее огромными репарациями. На экономику проигравшей страны были наложены жесткие ограничения. По мысли автора, «мировой капитализм», восторжествовавший в Версале, и есть раса эксплуататоров. Просквозившие здесь симпатии к ограбленной Германии совпадали с тогдашней общекоммунистической установкой (но одновременно и с нацистской антиверсальской риторикой).

ращается в монолит. Она воинственна и стремится к установлению единой мировой империи<sup>17</sup>.

Эти рассуждения о расе пользователей культуры, неспособных ее строить, о космополитизме этой расы и ее растущей монолитности звучат пугающим отголоском радикальных антисемитских теорий. Изложенная доктрина по сути представляет собой своеобразный социальный расизм, более всего похожий на левый нацизм Грегора и Отто Штрассеров, посредничавших между национал-социалистами и коммунистами. У Толстого эту доктрину излагает персонаж с классической семитской внешностью, несомненный коммунист или анархист, то есть левый еврей-антисемит — типаж всем знакомый. Получается нечто взрывчатое, отталкивающее и двусмысленное, что не могло не раздражить политические и литературные власти, несмотря на подспудно все растущую популярность нацизма у советской элиты. В позднейшие версии романа этот кусок уже не включался.

### Носители пенснэ

Во второй половине 1930-х годов, когда, уничтожая остатки революционного поколения, Сталин негласно поощряет юдофобские позы, Толстой возвращается к прежним схемам. Теперь еврейские персонажи у Толстого — это прежние чахоточные и кровожадные идеологи, как в *Хождении по мукам* или в фельетонах и прозе первых пореволюционных лет. В повести *Хлеб (Оборона Царицына)* (1937) действует старик-анархист Яков Злой: имя его амбивалентно, а фамилия — очевидный псевдоним.

Иногда из вагона — осторожно, задом с площадки — спускался щуплый старичок с нечесанными волосами, в длинном заграничном пальто, в черной мягкой, очень пыльной шляпе. Выставив кадык, задрав серую бородку, старичок глядел на небо через криво сидящее на плоском носу пенсне [...] Заложив за спину руки, пощелкивая жилеватыми пальцами, он прохаживался, поглядывая по сторонам, приятно улыбался красными, свежими губами. Это был идеолог отряда, анархист Яков Злой, приехавший в семнадцатом году из Америки<sup>18</sup>.

Американская привязка здесь имеет фактическое обоснование: в начале двадцатого века в США действительно суще-

<sup>17</sup> А.Н. Толстой, *Черное золото...*, с. 71–72.

<sup>18</sup> ПСС, т. 8, с. 516.

ствовали земледельческие коммуны социалистов (близ Лос-Анджелеса, в Техасе, Миннесоте, штате Нью-Йорк), а в 1913 в Теннесси — и коммуна анархистов. Существовали коммуны из одних одесситов. Еврейский анархизм описан в исторической литературе<sup>19</sup>. В 1917 в Россию вернулись (вернее сказать, были высланы) некоторые анархисты-политэмигранты: при штабе Махно некоторое время находилась знаменитая Эмма Голдман<sup>20</sup>, ср.:

В числе других вернувшихся [в Россию] были А. Беркман и Э. Голдман, высланные из США за поддержку русской революции. Некоторое время эти интеллектуалы анархизма находились на Украине, в Гуляй-польской ставке Н.И. Махно, при Реввоенсовете его Повстанческой армии, участвуя в работе ее культпросветотдела, вместе с рядом других анархистов-эмигрантов, вернувшихся весной-летом 1917 года. После разгрома большевиками анархистского движения в России Голдман и Беркман сумели уехать (в декабре 1921 г.) и до конца дней вспоминали коммунистов с ужасом и омерзением<sup>21</sup>.

Мы видим, что в рисовке Злого соединены мотивы, ранее сопровождавшие образы евреев-разрушителей, а затем и показ «пролетария» из *Эмигрантов* —щуплость, пенсне, неопрятность; Заметим, что в самом начале той же повести *Хлеб* сходными чертами обрисован беглый портрет меньшевика Мартова<sup>22</sup>:

Член центрального комитета меньшевиков Мартов в пальто с оборванными пуговицами, выставив из шарфа кадык худой шеи и запрокинув чохоточное лицо с жидкой бородкой, чтобы глядеть на слушателей через грязные стекла пенсне, съехавшего на кончик носа, — тихо, но отчетливо заговорил [...] Мартов двумя пальцами поправил пенсне. Чохоточные щеки его втянулись<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> Ср. P. Avrich (ред.), *The Anarchists in the Russian Revolution*. N.Y., Cornell University Press, 1973; О.В. Будницкий (ред.), *Евреи и русская революция: материалы и исследования*, The Institute of Jewish Studies — Гешарим, Москва—Иерусалим 1999.

<sup>20</sup> Эмма Голдман (1869–1940) — виднейшая еврейско-американская анархистка и феминистка, прожившая фантастическую жизнь, плодовитая писательница. Александр (Саша) Беркман был ее спутником жизни — они жили в свободном союзе. По следам советских впечатлений опубликовала книги *My Disillusionment in Russia* (1923) и *My Further Disillusionment in Russia* (1924).

<sup>21</sup> М. Гончарок, *Очерки по истории еврейского анархистского движения (идиш-анархизм)*, Проблемы, Иерусалим 1998, с. 68.

<sup>22</sup> Юлий Осипович Мартов (Цедербаум, 1873–1923), один из меньшевистских лидеров, политэмигрант, после Февральской революции вернулся в Россию, но в 1920 году, уже смертельно больной, вновь эмигрировал. В Берлине основал журнал «Социалистический вестник», где призывал к демократизации советской власти, осуждал национализацию промышленности и жесткую аграрную политику большевизма, требовал отставки Сталина.

<sup>23</sup> ПСС, т. 8, с. 409.

Злому приписана щуплость — вид физической неполноценности, а его «сухонькая рука»<sup>24</sup> намекает на «мертвость» персонажа. Оба они запрокидывают лицо или задирают бородку, чтобы выставить кадык, в знак надменности, оба смотрят на мир сквозь пенсне (один «через грязные стекла пенсне», другой — «через криво сидящее на плоском носу пенсне»): то есть видят его нечетко или «криво», то есть предвзято. У обоих непрезентабельная «жидкая» или «серая» — «бородка» (не борода) и столь же дрянная одежда: «пальто с оборванными пуговицами» или «очень пыльная шляпа». Оба неопрятны: у Мартова грязное пенсне, а у Злого — нечесанные волосы.

Анархисты везут пуды награбленного золота и мехов в своих блиндированных вагонах и боготворят старичка Злого, подводящего под их разбой солидную идейную базу. Вот почему Толстому важны его «жиловатые пальцы», с намеком на крепкую хватку этого с виду эфемерного персонажа; добавочный смысл слова «жила» — это жадина: а фраза «грязные тонкие пальцы»<sup>25</sup> может значить и «на руку нечист».

И опять, как в 1920 году в *Хождении по мукам*, в изображении этого идеолога разрушения и анархии, призывающего отречься от промышленности и перерезать электрические провода, возникает вампирический мотив: «красные, свежие губы». Вспомним внешность сатанинского «пророка Елисея» в *Хождении по мукам*: «Вы вглядывались в его лицо? Без кровинки... Какой-то особенный, мягкий красный рот, точно он слова обсасывает губами»<sup>26</sup>.

В романе Толстого *Хмурое утро* (1940–1941) — третьей части трилогии о революции и Гражданской войне — изображен русский теоретик анархизма, «член секретариата конфедерации 'Набат'»<sup>27</sup> Леон Черный, чей облик стилизован под еврея;

<sup>24</sup> Там же, с. 550.

<sup>25</sup> Там же, с. 518.

<sup>26</sup> А.Н. Толстой *Хождение по мукам* // «Грядущая Россия. Ежемесячный литературно-политический и научный журнал» 1920, № 2, (ред.) Н.В. Чайковский, В.А. Анри, М.А. Ландау-Алданов, гр. Алексей Н. Толстой, Русское книгоиздательство в Париже, с. 5.

<sup>27</sup> Ср. «Из различных анархических групп, связавших свою судьбу в дальнейшие годы с махновщиной, выделяется одна из крупнейших анархических организаций — группа 'Набат'. [...] Окончательно она сложилась на I съезде конфедерации анархических организаций Украины 'Набат' в Елизаветграде в апреле 1919 года. [...] В резолюциях и постановлениях как ноябрьской конференции, так и Елизаветградского съезда отчеканивается резко отрицательное отношение к рабочему государству [...] Конференция отрицает необходимость какого то бы ни было переходного периода к безвластному анархическому обществу, отрицает необходимость организации пролетариата в господствующий класс в период перехода от капитализма к социализму. . . Отсюда лозунг Елизаветградского съезда: 'Никаких компромиссов с Советской властью', *Анархисты и Махно*, uadocent.dreamwidth.org/439250.html [1.08.2019].



у него та же физическая немощь, непрезентабельная одежда и неопрятность в сочетании с идейной неукротимостью, как и у Якова Злого:

[...] клочковатый, неопределенного возраста, маленький, очень сухой, без легких в птичьей груди, про которого только и подумаешь, что жив одним духом. Мягтый пиджачок его был обсыпан перхотью и седыми волосами, карты он в рассеянности развернул всем на виду<sup>28</sup>.

Анархист оказывается чудовищно свирепым, хоть он и «жив одним духом», что опять напоминает о Духовке из *Анны Зиссерман*, то есть о все той же еврейской духовности. Черный выступает против любого государства:

Еще в Париже мы начали спор с вашими большевиками... Спор не кончен, и никто еще не доказал, что Ленин прав. Вместо феодально-буржуазного государства создавать рабоче-крестьянское! Но — государство, государство! Вместо одной власти — другую. Снять барский кафтан и надеть сермяжный! И у них-то будет бесклассовое общество! Взамен государства ужасный старичок предлагает тотальное разрушение:

— Разрушение! — зашипел на него без голоса, перехваченного спиртом, Леон Черный, и клочки его сивой бородки ошетинились, как у барбоса. — Разрушение всего преступного общества! Беспощадное разрушение, до гладкой земли, чтоб не осталось камня на камне [...]. Наше дело — страшное, полное и беспощадное разрушение<sup>29</sup>.

Черный намерен мобилизовать для Махно трехмиллионную армию анархистов, чтобы противостоять Красной армии. Когда ему говорят, что он не подготовлен к этому, персонаж в ответ угрожает вооружить все человечество, полтора миллиарда человек: «Если у нас будут только зубы и ногти и камни под ногами, — мы опрокинем ваши армии, в грудку развалин превратим цивилизацию, все, все, за что вы цепляетесь...»<sup>30</sup>. Тут Махно теряет интерес и перестает его слушать: «Э, старичок-то легкий!».

Облик Леона Черного, возможно, знакомый Толстому по Москве 1918 года, здесь заведомо фальсифицирован. Леон Черный (1878–1921) — псевдоним Павла Турчанинова, поэта и теоретика анархизма. Павел Турчанинов, выходец из богатых воронежских дворян, учился медицине в Московском университете, в 1901 году был исключен и сослан, стал эсером, в 1902 году увлекся анархизмом, предлагая «ассоциативный анархизм» с элементами коллективизма, и взял псевдоним Леон Черный. В 1903 году он получил еще 6 лет ссылки, но вышел

<sup>28</sup> ПСС, т. 8, с. 159.

<sup>29</sup> Там же, с. 160.

<sup>30</sup> Там же, с. 162.

по амнистии, в 1905 году создал в Москве террористическую группу и снова попал в тюрьму, затем на каторгу и в сибирскую ссылку, откуда дважды неудачно бежал. В 1910–м ему, наконец, удалось бежать во Францию.

После амнистии 1913 года Черный возвратился в Россию. Он принял участие в Февральской революции, стал одним из основателей Федерации работников умственного труда и секретарем Московской федерации анархистских групп. Он выступал против сотрудничества анархистов с большевиками, а в начале 1918–го основал в Москве «Черную гвардию» для «третьей революции», на этот раз против большевиков, запланированной на конец апреля 1918. Однако в апреле «Черная гвардия» была ликвидирована, а Черный был арестован чекистами и в тюрьме потерял зрение. Освободившись, он, тем не менее, продолжал подпольную антибольшевистскую борьбу в Одессе и в армии Махно в Гуляйполе. В 1921, когда разбитый Махно бежал за границу, Черный был вновь арестован ЧК и расстрелян.

У А. Ветлугина (литературный псевдоним Владимира Рындзюна), работавшего в 1918 году в газете анархистов «Жизнь», мы можем прочесть о благородстве и бескорыстии Черного:

Наименее экспромтным, наиболее осозанным, внутри оправданным, пожалуй, облагороженным был анархизм Льва Черного [...]. Среди обезумевших от крови, кокаина и спирта матросов [...] этот очень высокий, гнувшийся человек поспешно проходил, стыдливо потупив огромные, юродивые глаза<sup>31</sup>.

Советскому писателю, каким сделался Толстой, нельзя было серьезно и добросовестно отнестись к фигуре Черного, боровшегося не за тотальный катаклизм, а против большевистского государства. Автор сделал из него очередного маньяка-разрушителя, приписав вполне русскому человеку шаблонно-юдофобский набор карикатурно еврейских коннотаций: маленький рост, хилость, чахотка, клочковатая борода, перхоть, все та же гротескная «духовность». Черному в 1919 году было всего 42 года, это был высокий, красивый человек, хоть и совершенно слепой. Еврейские привязки соединились с именем и фамилией «Леон Черный», которые, возможно, и не воспринимались как еврейские в том 1902 году, когда Турчанинов взял этот псевдоним, но в 1940–м уже зазвучали именно так.

<sup>31</sup> А. Ветлугин, *Сочинения. Записки мерзавца*, Лаком, Москва 2000, с. 67.

## Все променял шутя!

В анархистских сценах *Хмурого утра* появляется яркое эпизодическое лицо — палачествующий анархист-махновец Лева Задов с его характерно еврейской (слегка украинизированной) речью:

А ну, подивись на меня, [...] я Лева Задов, со мной брехать не надо, я тебя буду пытаться, ты будешь отвечать... [...] **Ай-ай-ай... Зачем ты говоришь Лева, что ты приехал из Екатеринослава, когда ты приехал из Ростова...**<sup>32</sup>.

Лева Задов восхищен собой, как персонаж *Черной пятницы* авантюрист Адольф Задер и персонаж романа *Эмигранты* красный коммерсант Леви-Левицкий; всех троих объединяет фантастическая хвастливость, склонность восторженно рассказывать свою биографию, манера говорить о себе в третьем лице и отчасти лексика («папашка»):

[...] Одесса же меня на руках носила: деньги, женщины... Надо было иметь мою богатырскую силу. Эх, молодость! Во всех же газетах писали: Задов — поэт-юморист... Да ну, неужели не помнишь? Интересная у меня биография. С золотой медалью кончил реальное. А папашка — простой биндюжник с Пересыпи... И сразу я — на вершину славы. Понятно: красив как бог — этого живота не было — смел, нахален, роскошный голос — высокий баритон. Каскады остроумных куплетов. Так это же я ввел в моду коротенькую поддевочку и лакированные сапожки: русский витьязь! Вся Одесса была обклеена афишами... Эх, разве Задову чего-нибудь жалко, — все променял шутя! Анархия — вот жизнь! Мчусь в кровавом вихре<sup>33</sup>.

Об исторической фигуре Льва (Лейба) Зодова, известного также как Лёвка Задов (1893–1938), сперва начальника контрразведки у Нестора Махно (впрочем, там он пользовался фамилией Зиньковский, которая стала его официальной фамилией), а позднее чекиста, действительно существовала эмигрантская легенда как об изощренном садисте. Однако когда Зиньковский был арестован ГПУ после его возвращения в Союз из трехлетней эмиграции (он ушел в Румынию в 1921 году вместе с Махно, которого большевики объявили «вне закона»), обвинения в пытках и зверствах были тщательно проверены следствием и не подтвердились. Толстой, тем не менее, предпочел следовать эмигрантской легенде и за-

<sup>32</sup> ПСС, т. 8, с. 149.

<sup>33</sup> Там же, с. 221–222.

просу на демонизацию махновцев. Он сделал своего Левку Задова мерзавцем колоритным, страшным и смехотворным:

Вошел, несколько переваливаясь от полноты, лоснящийся человек в короткой поддевке, какие в провинции носили опереточные знаменитости и куплетисты... Левка был палач, человек такой удивительной жестокости, что Махно будто бы не раз пытался зарубить его, но прощал за преданность [...] <sup>34</sup>.

Писатель добавил в образ Левки Задова шутовской элемент, в его речь — рифмюиды, а в биографию — карьеру «поэта-юмориста», не имевшую, впрочем, реальной основы. На самом деле Зодов, сын евреев-крестьян, до революции работал на металлическом заводе каталем; став анархистом, он для нужд организации ограбил почту и попал на каторгу. После революции он вернулся на завод, был депутатом Совета в Юзовке и в анархистском боевом отряде воевал против казаков в Донбассе, где прославился фантастической храбростью. Был красным командиром в Царицыне, а потом откомандирован в штаб Южного фронта и действовал в подполье против немцев. Там, на Украине, он и встретился с Нестором Махно — но руководил у него не карательной службой, а разведкой <sup>35</sup>. Никаких артистических склонностей реальный Зодов не проявлял.

Составная «поэта-юмориста», то есть «эстрадника», в образе палача Задова у Толстого — черта, несомненно, весьма эффектная. Так автор актуализировал глубинное сходство демонических образов палача и шута, ярко обновив древние архетипы — театральную природу казней или тот факт, что в древнем Китае в палачи нанимали актеров. Кстати, фраза «все променял шутя» — очевидно, и указывает на «шута». Не зря в первой экранизации трилогии Задов произносит не «со мной брехать не надо», как в ПСС, а «со мной шутить не надо».

Задов нарциссичен, он упивается собой и как бы цитирует чужие оценки собственной персоны: «красив как бог», «роскошный голос» — или даже рецензии на себя: «каскады остроумных куплетов». Он изобретает имидж «русского витязя», подчеркивает свою русскость: «богатырская сила» и бесшабашную широту натуры: «Эх, разве Задову чего-нибудь жалко, — все променял шутя!» О своей карьере он философствует в романтическом духе: «Анархия — вот жизнь! Мчусь

<sup>34</sup> Там же, с. 148.

<sup>35</sup> М. Штейнберг, «Я Лева Задов, со мной шутить не надо...», «Лицом к лицу», № 6 (406). <http://russian-bazaar.com/ru/content/4605.htm> [1.08.2019].

в кровавом вихре». Последняя фраза обычно говорится при угрызениях совести, но персонажу эта жизнь явно нравится. По контрасту с Задером и Левицким, прохвостами талантливыми и людьми жалостливыми и храбрыми, Задов не вызывает никакой симпатии.

К несомненному демонизму Задова автор добавил еврейскую составляющую, и это не просто анархистская «кровожадность». То, что это чудовище сделано бездарным и бескультурным еврейским эстрадником-халтурщиком — а этот тип, без сомнения, был хорошо знаком читателю и в России, и в эмиграции, — стало, может быть, самым убедительным антисемитским аргументом романа.

Хотя писатель создал своего Левку Задова в 1940 году, а набоковское *Приглашение на казнь* вышло еще в 1935-м, непохоже, что Толстой мог позволить себе испытать набоковское влияние. Все же необходимо отметить, что Левка — сборный персонаж, составленный во многом по тому же рецепту, что и набоковский мсье Пьер: в обоих случаях это самоупоенный пошляк, шут-палач, который еще и резонер. Каждое его слово выдает избыточную потребность в самоутверждении, маскирующую слабость.

В романе *Восемнадцатый год* Троцкий, безымянный, но легко узнаваемый по знаменитому пенсне, давал советы Сталину. Эту оплошность Толстому пришлось исправить в повести *Хлеб* (1937): тут Троцкий уже назван по имени и предстает законченным предателем. В третьем томе трилогии — романе *Хмурое утро* Троцкий появляется как «председатель Высшего военного совета»; здесь он отдает губительные приказы и вообще ведет себя настолько необъяснимо, что у героев закрадываются худшие подозрения. К нашей теме имеет отношение одна его реплика, звучащая с явным еврейским акцентом: «Почему вы еще здесь, а уже не там?»<sup>36</sup>. В облик поверженного врага режима она задним числом вносит издевательскую нотку.

В том же *Хмуром утре* выведен лютый большевик товарищ Яков, который разрушает жизнь селян, реквизирует дом попа, закрывает церковь, организует комитет бедноты и натравливает его на остальных мужиков и в конце концов дочиста обирает село, представив продотряду фантастические цифры хлебных излишков. Интереснее всего наделение этого персонажа тем же самым амбивалентным именем, потенциально

<sup>36</sup> ПСС, т. 8, с. 335.

еврейским, что и у анархиста Злого в повести *Хлеб*. Всю его деятельность Толстой нанизывает на ось русофобии, чрезвычайно схожую с позицией Горького в брошюре *О русском крестьянстве*, изданную в 1922 году в Берлине. В *Хмуром утре* Яков говорит:

— Русский мужик есть темный зверь. Прожил он тысячу лет в навозе, — ничего у него нет, кроме тупой злобы и жадности, за душой нет и быть не может. Мужуку мы не верим и никогда ему не поверим. Мы щадим его, покуда он наш попутчик, но скоро щадить перестанем. Вы — деревенский пролетариат — должны крепко взять власть, должны помочь нам подломать крылья у мужика<sup>37</sup>.

Больше о ненавистном товарище Якове, явно компрометировавшем советскую власть в глазах народа, упоминаний нет. Но приписав ему позицию Горького, Толстой тем самым как бы осуждает покойного писателя. Любопытнее всего, что в том же романе изображен и альтернативный вариант «успешной» подрастерки. Олицетворяет его «красный поп», расстрига Кузьма Кузьмич, который вкрался в доверие к народу, стал всеобщим любимцем — и тут же выдал большевикам сведения о спрятанных «излишках» продовольствия. Достигнут тот же итог, что у лютого товарища Якова, — тотальное ограбление народа, зато дело обходится без всякой русофобии.

Впрочем, антисемитизм не мешал Толстому тогда же, в 1930-х годах, участвовать в деятельности международных антифашистских конгрессов. В 1937-ом он посетил осажденный фашистами Мадрид, где выступил на 2-м Международном конгрессе писателей в защиту культуры, а в 1938 году участвовал в митинге, проведенном в Московской консерватории по поводу еврейских погромов в Германии. Разумеется, повестка и состав участников подобных мероприятий диктовались свыше. По распоряжению Николая Шверника (но несомненно, по инициативе Сталина) в 1943 году Толстого включили в состав комиссии по расследованию фашистских преступлений на освобожденных от немцев территориях. Он инспектировал места массового уничтожения евреев под Нальчиком, а также в Белоруссии. Ввели его и в состав советских официальных делегаций в Славянском антифашистском комитете.

В конце 1970-х годов в Израиле меня разыскал пожилой человек, почему-то решивший не называть своего имени, который рассказал, что видел Толстого во время раскопок массо-

<sup>37</sup> Там же, с. 287.

вых еврейских захоронений в Нальчике. Он был совершенно убежден, что именно шок от этих чудовищных впечатлений стал причиной болезни, унесшей жизнь Толстого в 1945 году<sup>38</sup>.

Итак, где-то во время революции кристаллизуется глубокий миф Толстого. Сатанинская гордость, интеллектуальность, избыточная духовность, огненность, пламенность — все эти качества романтического героя привязываются теперь к зловещей, разрушительной фигуре еврея. Он, противопоставленный природе и человечеству — «сырой», то есть аморфной и полной влаги жизни России, — овладевает ею с помощью своего «сухого» гипертрофированного разума. Главное его оружие — интернационализм, уничтожающий национальные различия, то есть все живое национальное бытие; левые направления, развоплощавшие жизнь, воспринимаются как агенты этого сатанинского начала. Это построение, подвид символистского оккультного антисемитизма, эволюционировало, принимая все более насущные и модные формы. Сначала то была попытка дать исторический ответ на еврейскую загадку в духе модной «ариософии», затем — «марксистское» объяснение в духе «социального расизма».

В тридцатые годы советский писатель Алексей Николаевич Толстой, автор, весьма чуткий к гласному и негласному «социальному заказу», вновь отдает дань антисемитизму, действуя уже в соответствии с общеевродофобским креном эпохи. Все более кристаллизуется теперь стиль «социалистического реализма», показывающий не то, что существует, а то, что должно существовать, — стиль, требующий образов стереотипных и одобренных свыше. И далеко позади остаются живые, противоречивые, смешные и правдивые *Ибикус* и *Черная пятница* — эта воплощенная память о берлинском, самом свободном периоде его творчества.

<sup>38</sup> Подтверждают это мнение недавно опубликованные записные книжки Фаины Раневской, часто видевшей Толстого в 1942—1944 году в эвакуации в Ташкенте: «Последнюю встречу с ним не забуду. Он остановил меня на улице на Малой Никитской. Я не сразу узнала, догадалась — это Толстой. Щеки обвисли, он пожелтел, глаза были тоже не его. Он сказал: 'Я вышел из машины, не могу быть в машине — там пахнет. И от меня пахнет — понюхайте. . .' Я сказала, что от него пахнет духами. А он продолжал говорить: 'Пахнет, пахнет, всюду пахнет'. Машина стояла рядом, но он не хотел в нее садиться. Я предложила проводить его до дому. Взяла под руку. По дороге он просил меня запомнить и сказать всем, что с фашистами нельзя жить на одной планете, что их надо поселить к термитам, чтобы термиты ими питались, или чтобы фашисты питались термитами. Его не надо было вводить в состав комиссии, которая изучала все злодеяния фашистов. Нельзя было. Вскоре после этой последней с ним встречи его не стало. Я его очень любила ]... [ Нельзя, нельзя было заставить его смотреть на то, чего нельзя вынести, после чего нельзя жить, это зрелище убило его, прикончило. . . ». Ф. Раневская, *Дневник на клочках*, Фонд русской поэзии, Петрополь, Санкт-Петербург 1999, с. 55–56.